

# Patriotica.

---

Ты долго-ль будешь за туманомъ  
Скрываться, Русская звѣзда,  
Или оптическимъ обманомъ  
Ты обличишься навсегда ?

*Тютчевъ.*

И насколько я знаю, намъ еще позволено говорить другъ съ другомъ о нашемъ отечествѣ, или — по крайней мѣрѣ — вздыхать о немъ.

*Фигтс.*

„Родина, какъ здоровье: ихъ начинаешь дѣйствительно цѣнить только, когда потеряешь“. Больше потерять родину, чѣмъ мы, русскіе люди, трудно. Мы не только потеряли ее, какъ изгой. Сама родина разрушается, медленно умираетъ, становится легкой добычей. Мы — во-истину,

Какъ тотъ, кто жгучею тоскою  
Томился по краю родномъ  
И вдругъ узналъ-бы, что волною  
Онъ схороненъ на днѣ морскомъ.

И въ этотъ часъ естественно, что всѣ помыслы русской общественности только о родномъ краѣ, всѣ благословенія — только ему. Каждый по своему или спасаетъ его, или думаетъ о способахъ этого спасенія.

Но такова, вѣрно, проклятая судьба русскаго общества, что даже и въ этомъ, казалось бы, всѣмъ общемъ и нужномъ оказываются расхожденія, непониманіе, пропасть. И несомнѣнное, простое и ясное претерпѣваетъ такія измѣненія и уклоны, что люди начинаютъ говорить на разныхъ языкахъ.

Говорять, что компромиссъ необходимъ въ реальной политикѣ. Говорять, что эту истину давно практическимъ чутьемъ постигли англичане. Можетъ быть. Но политика, въ которой компромиссно все — не политика. Политика, гдѣ компромиссу подвергаются самые принципы, становится политиканствомъ, или — того хуже — безпринципной авантюрой. Если всю политику свести къ этому, — честному человѣку нѣтъ мѣста въ политикѣ.

Принципъ есть то, что временному и преходящему сообщаетъ характеръ вѣчнаго, что даетъ переживание вѣчнаго, „божественнаго“, въ временномъ и „человѣческомъ“. И однимъ изъ такихъ принциповъ — особенно теперь — должно стать для насъ требованіе, сознание необходимости національнаго самоутвержденія, національнаго самосохраненія.

„Вѣра благороднаго человѣка въ вѣчное продолженіе его дѣятельности на этой землѣ основывается на вѣрѣ въ вѣчное развитіе народа, изъ котораго онъ самъ развился, въ своеобразіе этого развитія по скрытымъ законамъ *безъ примѣси, безъ искаженія* его чѣмъ-нибудь чуждымъ, не согласующимся со всей совокупностью законовъ его развитія. Это своеобразіе есть то *вѣчное*, коему онъ вѣруетъ вѣчность самого себя и своей дѣятельности, вѣчный порядокъ вещей, въ который онъ влагаетъ свое вѣчное. Онъ долженъ хотѣть его продолженія, ибо только оно есть то освобождающее средство, благодаря которому краткій срокъ его жизни расширяется до предѣловъ жизни постоянной“. \*) Абсолютная вѣра въ вѣчное развитіе народа безъ примѣси, безъ искаженія и, слѣдовательно, требованіе—категорическое, не подлежащее никакимъ условіямъ и отступленіямъ, — охраны этого развитія, *нерушимости, неприкосновенности* цѣлаго, въ безграничности развитія котораго — залогъ переживанія вѣчности для человѣка: здѣсь — никогда и ни при какихъ условіяхъ компромисса быть не можетъ.

Это должно быть такъ,—особенно теперь и особенно для насъ.

Многія причины привели Россію къ тому состоянію, въ которомъ она находится сейчасъ. Много разъ указывали на нихъ,— и перечислять ихъ не входитъ въ задачу этой статьи. Но основ-

\*) Фихте. Reden an die Deutsche Nation.

ной, главной, которая лежала въ корнѣ всѣхъ, которая объясняетъ, почему съ такой легкостью разсыпалась *великая хранина земли Русской* — было отсутствіе, недостатокъ національнаго самосознанія, патриотизма въ глубокомъ, высшемъ смыслѣ и значеніи.

Русскій народъ шель отстаивать родину, сражался, умиралъ, побѣждалъ—по велѣнію свыше. Порою онъ загорался, можетъ быть, массовымъ *чувствомъ*, но онъ не былъ проникнуть, пропитанъ *сознаніемъ* отечества. Мы были чаще — „вятскіе“, „пензенскіе“. Но мы очень рѣдко бывали—гражданами Россіи.

И не вина это и не особое свойство нашего народа. Национальное самосознаніе есть даръ свободы. Триста лѣтъ проклятаго рабства, подъяремнаго безгражданственнаго подданничества превратили въ человѣческую пыль то, что должно было быть націей. „За что должны биться рабы?“ Высшаго, творческаго сознанія націи у нихъ нѣтъ. Стало быть, только за „спокойствіе, которое для нихъ выше всего“. „Но оно нарушается продолженіемъ борьбы. И поэтому они примѣняютъ все, чтобы какъ можно скорѣе закончить ее; они будутъ колебаться, уступать. И ради чего они не стали бы этого дѣлать? Они никогда не могли думать ни о чемъ другомъ, они всегда ждали отъ жизни лишь продолженія своего обычнаго существованія въ болѣе или менѣе сносныхъ условіяхъ“. \*)

И когда пало внѣшнее принужденіе, когда исчезъ гипнозъ власти, то естественной усталости отъ войны, ея ужасовъ, крови, естественному страху смерти, желанію „спокойствія“ ничего нельзя было противопоставить. И какимъ беспомощнымъ ужасомъ сжималось сердце, когда впервые привезли съ фронта безумныя слова: „мы хотимъ мира,—хотя бы и похабнаго“....

И именно здѣсь великое, неоправдываемое преступленіе большевизма. Онъ довелъ этотъ апатріотизмъ до апогея. Онъ оправдалъ; онъ разрѣшилъ его. Онъ толкнулъ народъ къ тому, чтобы вслухъ, прямо, безъ обиняковъ говорить то, одна мысль о чемъ — затаенная, невольная, подло стучающаяся въ душу, — должна была бы залить лицо краской стыда. Онъ облекъ слабость и бессознательность въ ризы широковѣщательной и ложной идеологии. Въмѣсто того, чтобы свободу, добытую, наконецъ, народомъ, сочетать съ однимъ—и необходимымъ—изъ дости-

\*) Фихте, назв. соч.

женій ея—національнѣмъ самосознаніемъ, правомъ свободнаго національнаго творчества, онъ извратилъ ее до степени эгоистическаго шкурничества.

Словами о всеобщемъ мирѣ онъ прикрывалъ проповѣдь мира во что-бы то ни стало и убѣжденіемъ въ томъ, что непріятель тоже положить оружіе, усыплялъ послѣднія вспышки взбужденной національной совѣсти.

Только забывчивостью людей, только желаніемъ, утопая, схватиться хоть за соломинку, можно, поэтому, объяснить иллюзіи нѣкоторыхъ, будто теперь большевики могутъ бороться за національную цѣлостность Россіи. Будто ихъ борьба можетъ приобрести такой характеръ. Нельзя, униживъ, растоптавъ душу, сдѣлаться идеологомъ этой души. Развѣ растлитель, на этомъ растлѣніи построившій свою систему, можетъ стать стражемъ цѣломудрія своихъ жертвъ?

Но, какъ бы ни было настойчиво стремленіе большевизма толкнуть русскій народъ на преступленіе передъ самимъ собою, эта настойчивость не дала бы тѣхъ результатовъ, если бы онъ не нашелъ въ самомъ народѣ благодарной почвы апатріотизма. Большевизмъ сталъ властью потому, что въ тотъ моментъ это допустилъ, этому помогъ народъ. Вотъ почему борьба съ большевизмомъ есть не только сверженіе комиссародержавія, но и излѣченіе или, вѣрнѣе, воспитаніе русскаго народа до національнаго самосознанія. Большевики, несмотря на все, продолжаютъ существовать именно потому, что нѣтъ того огня, который внутри Россіи спаялъ бы массы, освѣтилъ бы, зажегъ въ умахъ одну мысль, способную родить энтузіазмъ, мысль о томъ, что каждый день существованія большевизма есть невыносимое оскорбленіе святыни національной самобытности, все новое переживаніе національнаго стыда.

Воцареніе большевизма именно такъ и воспринималось всѣми. На другой день послѣ паденія Зимняго и перехода власти къ Смольному всѣ демократическія силы соединились на лозунгѣ борьбы съ большевизмомъ. Во имя чего?

Во имя многого, во имя всего.

Мы вышли на борьбу съ большевизмомъ, ибо понимали, что его господство — разрушеніе Россіи. Уничтоженіе государственнаго и хозяйственнаго аппарата. Разложеніе страны. Голодъ. Нищета. Гибель демократіи и творчества въ свободѣ.

Величайшая реакція. Охлось, ставшій на мѣсто демоса. Все это видѣли и предвидѣли общественныя силы Россіи. Но не это стояло въ центрѣ. Не это давало *павоць* борьбѣ. Этотъ павоць исходилъ изъ чувства національнаго протеста.

Протестъ противъ отказа отъ самозащиты, ударъ по національному достоинству, разрушеніе понятія родины — вотъ что стояло въ центрѣ, заставляло и тогда и позже мечтать о возстановленіи фронта, о борьбѣ съ узурпаторами ради отпора внѣшнему врагу.

Общественный инстинктъ правильно нащупалъ эту точку — самую больную, — и понялъ, что именно отсюда должно пойти оздоровленіе страны, если оно возможно, что спасеніе ея въ воспитаніи народа до націи, въ осознаніи имъ себя націей въ процессѣ борьбы съ разложившей націю силой. Въ разныхъ другихъ областяхъ возможно было-бы мыслить себѣ и предлагать компромиссы во имя легчайшаго изживанія народомъ этого тяжелаго періода. Но *здѣсь* компромисса быть не могло. Компромиссъ *здѣсь* значилъ-бы уничтоженіе самой души возрожденія народа, отказъ отъ того принципа, который есть „то *вѣчное*, коему человекъ вѣряетъ вѣчность самого себя и своей дѣятельности, вѣчный порядокъ вещей, въ который онъ влагаетъ свое вѣчное“.

Подъ такимъ знакомъ началась и шла борьба не только съ большевизмомъ, какъ системой, но съ тѣми причинами, которыя дали въ народѣ возможность побѣды большевизма. Такъ началась и шла борьба. И такъ — и только такъ — она должна была итти, чтобы не потерять не только своего практическаго, но — что важнѣе — своего идейнаго, воспитательнаго — метафизическаго и религіознаго, сказалъ-бы я, — смысла.

Такъ должно было быть. Но такъ-ли это на самомъ дѣлѣ?

Въ своемъ „Былое и Думы“ Герценъ рассказываетъ о французскомъ эмигрантѣ — графѣ Кенсона, котораго онъ видѣлъ, будучи ребенкомъ, въ домѣ своего отца. „Надобно было на мою бѣду, — рассказываетъ Герценъ, — чтобы вѣжливѣйшій изъ генераловъ всѣхъ русскихъ армій сталъ при мнѣ говорить о войнѣ. „Да вѣдь вы стало сражались противъ насъ?“ — спросилъ я его пренаивно. „Non, mon petit, non, j'étais dans l'armée russe“. „Какъ, — сказалъ-я, — вы — французъ и были въ нашей арміи, это не можетъ быть!“ Отецъ мой строго взглянулъ на меня и

замялъ разговоръ. Графъ геройски поправиль дѣло, онъ сказалъ, обращаясь къ моему отцу, что ему „нравятся такія *патріотическія* чувства“. Отцу моему они не понравились, и онъ мнѣ задалъ послѣ его отъѣзда страшную гонку. „Вотъ что значитъ говорить очертя голову обо всемъ, чего ты не понимаешь и не можешь понять. Графъ изъ вѣрности *своему* королю служиль *нашему* императору“. Дѣйствительно, я этого не понималъ.

Къ сожалѣнію, извѣстная часть русской общественности стала, какъ будто, понимать то, чего не понималъ Герценъ. Мнѣ не хотѣлось-бы, чтобы на эту статью смотрѣли, какъ на полемику съ лицами. Цѣль ея — не борьба съ политическими противниками. Не это сейчасъ волнуетъ меня. Мучить и волнуетъ другое — болѣе глубокое и основное — болѣзнь русской общественности. Страшна эта болѣзнь, ибо, если въ самой сердцевинѣ появляется гніеніе — тогда, дѣйствительно, плохо дѣло.

Польша объявила войну Россіи. Начались бои. Захвачены были русскіе области, города. Паль Кіевъ. Было ясно, что не съ большевиками воюетъ Польша, или — во всякомъ случаѣ — не только съ большевиками, но съ Россіей, которую, по собственному его признанію, ненавидитъ теперешній руководитель Польши — Пилсудскій. А русская общественность въ значительной части или робко молчала передъ событіями и ждала избавленія отъ разгрома Россіи поляками, или — еще хуже — тайно или явно — сочувствовала имъ. И наивно старалась увѣрить себя: не противъ Россіи Польша, а противъ Большевиэіи.

Больше того. Находились такіе, которые считали возможнымъ сочувствовать тому, чтобы русскіе отряды шли вмѣстѣ съ польскимъ войскомъ бить Россію. Въ этотъ моментъ считали за честь быть принятыми Пилсудскимъ, увѣрять его въ дружбѣ, унижаться передъ нимъ и читать „неизреченное“ на его челѣ и въ его очахъ.

Есть такіе, которые и теперь, когда, кажется, и слѣпымъ пора прозрѣть, продолжаютъ утверждать, что это не Польша заключила миръ, обобравъ Россію, что это миръ „партійный“, заключенный подъ давленіемъ П. П. С. и англійскаго правительства и что въ конечномъ счетѣ этотъ миръ направленъ исключительно противъ большевиковъ. Что же, — и взятые деньги и отторгнутыя области — это тоже противъ большевиковъ и подъ давленіемъ П. П. С.?

Румынія, трижды измѣнившая своимъ различнымъ союзникамъ и „друзьямъ“, захватываетъ Бессарабію, сначала de facto, а потомъ и de jure. А русская общественность разрозненно едва реагируетъ. И, можетъ быть, — кто знаетъ? — найдутся еще люди, которые и этого слабого протеста не одобряютъ: опасно ссориться. А вдругъ Румынія, отхвативъ еще кусокъ, окажетъ какому-нибудь „россійскому“ правительству поддержку „противъ большевиковъ?“

Японія захватываетъ—медленно, настойчиво, жестоко и какъ-то фатально — Дальній Русскій Востокъ. Въ ужасѣ мечутся тамъ русскіе люди и чувствуютъ — беспомощные — какъ грознѣе, безповоротнѣе сжимается у нихъ на горлѣ желѣзная рука сосѣда. А большая часть „мозга русской націи“ молчитъ и молчаніемъ встрѣчаетъ привѣтъ какихъ-то „россійскихъ“ властей Японскому правительству за неизмѣнную дружбу. Кто знаетъ? Можетъ быть, въ борьбѣ съ большевиками и Японія окажетъ услугу. Нельзя раздражать. Вѣдь и правительства-то тамъ, на Дальнемъ Востокѣ, какія-то „полубольшевицкія“. Ну, а русская-то земля, русскіе люди тамъ — они забыты?

Недавно, одинъ русскій общественный дѣятель, говоря объ одномъ изъ „завоевателей“ Большевиизии, выросшемъ на вражеской помощи, заявилъ мнѣ: „Что же, если дойдетъ до Москвы — будетъ Гарибальди. Ну, а не дойдетъ...“ Значить, раздавить Троцкаго и Ленина даже цѣною униженія Россіи — заманчивая вещь? И какая же разница тогда между Гарибальди и графомъ Кенсона, „который изъ вѣрности *своему* королю служилъ *нашему* императору“?

О, я не хочу на этомъ основаніи подвергать сомнѣнію любовь къ родинѣ этихъ людей. Конечно, они по-своему любятъ её. Но, можетъ быть, было бы лучше, если бы это было не такъ. Тогда все было бы ясно и понятно. Тогда не было бы моральнаго соблазна и признаковъ моральнаго разложенія. Большевиизмъ, вѣрно, никогда и не мечталъ о *такой* побѣдѣ — величайшей изъ всѣхъ его побѣдъ: мрачная тѣнь его затмила національное самосознаніе. Большевиизмъ загородилъ, извратилъ патриотизмъ.

Вспоминаются мнѣ другія времена и другая обстановка. Въ декабрѣ 1917 года я былъ схваченъ большевиками и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость. Въ то же время сидѣлъ тамъ

лидеръ русскихъ черносотенцевъ, — покойный теперь, В. М. Пуришкевичъ. Большевики «опредѣлили» его истопникомъ, и онъ свободно ходилъ по корридору и могъ заходить въ камеры. То былъ моментъ, когда Троцкій сдѣлалъ свой «beau geste», прервалъ переговоры въ Брестѣ и явился въ Петроградъ проповѣдывать войну противъ Германіи. Большевицкая пресса была полна воинственнаго пыла. Заявлялось о непреклонномъ рѣшеніи отстать «красный» Петроградъ и «красную» Россію. Намъ въ тюрьму газеты доставлялись. И вотъ, въ одно утро, — съ газетой и какими то бумажками въ рукахъ — ко мнѣ влетѣлъ возбужденный, взбудораженный Пуришкевичъ. Онъ прочелъ объ этомъ «рѣшеніи» большевиковъ и пришелъ предложить составить и подписать заявленіе. «Заявимъ, — говорилъ онъ, — что, если такъ, мы готовы итти дѣлать, что угодно. Пошлутъ на передовыя позиціи бороться съ завоевателемъ — пойдемъ. Заставятъ быть братьями милосердія, сдѣлаютъ пушечнымъ мясомъ — на все готовы. Пусть руководятъ, но пусть не слагаютъ оружія защиты». Я отказался отъ этого заявленія и ему посовѣтовалъ не дѣлать его, ибо во-первыхъ, не вѣрилъ всей этой большевицкой шумихѣ, а во-вторыхъ, — наше положеніе — плѣнниковъ — было деликатное, и всякое такое движеніе съ нашей стороны могло быть истолковано, какъ желаніе прежде всего выбраться изъ тюрьмы. Но не въ моей позиціи дѣло, и не о ней хсчу я говорить теперь. Дѣло въ Пуришкевичѣ. Мы были съ нимъ политическими антиподами, и никогда ничто общее насъ съ нимъ не связывало и не могло связывать. Но я долженъ сказать, что въ тотъ моментъ, поскольку я вѣрилъ полной искренности порыва Пуришкевича, онъ — руководитель черной сотни — былъ психологически мнѣ ближе, чѣмъ всѣ тѣ — даже радикальные — политики, которые въ борьбѣ съ большевизмомъ уничтожаютъ самый смыслъ этой борьбы, которые интересамъ борьбы съ большевизмомъ — сознаютъ они это или нѣтъ, — жертвуютъ интересами Россіи.

Большой русскій писатель И. А. Бунинъ недавно написалъ, что испытываетъ горькую радость, что хоть въ одномъ была милостива къ нему судьба: „избавила меня, — говоритъ онъ, — отъ позора и муки дышать однимъ воздухомъ съ хозяевами „красной“ Россіи.“

Увы, — этотъ воздухъ, которымъ дышатъ хозяева „крас-



ной“ Россіи, — воздухъ нашей родины. Имъ дышитъ, содрогаясь и испытывая крестныя муки, Россія. Его въ послѣдній разъ вдыхаютъ тѣ безчисленныя жертвы, которыми сопровождается свое шествіе большевизмъ. Мука — *не* дышать имъ, этимъ священнымъ воздухомъ.

Страшенъ не физическій воздухъ, которымъ дышатъ большевики, а воздухъ моральный. И невольно беретъ страхъ, не заразили-ли большевики моральный воздухъ, которымъ дышитъ нѣкоторая часть русской общественности; не скатывается-ли она, сама того не замѣчая и думая спасти родину, къ большевистскимъ аргументамъ, эту родину, какъ „вѣчное во временномъ“, убивающимъ?

Большевизмъ, эволюционируя въ своихъ методахъ усыпленія національной совѣсти, изобрѣлъ два слова, объясняющія его дѣйствія: „оазисъ“ и „передышка“.

Пусть, говоритъ онъ, отдадимъ мы ту или иную часть русской земли — въ нарушение права и справедливости. Зато мы сохранимъ въ спокойствіи нашу „коммунистическую родину“, нашъ „оазисъ“. И ужъ онъ будетъ построенъ по нашему плану на поученіе всѣмъ.

И затѣмъ, всѣ эти „похабные“ миры—лишь „передышка“; все это — временное. Несомнѣнно, Европа, міръ—наканунѣ краха. Наши друзья, единомышленники и соратники придутъ къ власти. И когда властвовать будутъ они, они отдадутъ все, что отняли имперіалисты.

Пусть, — говорятъ теперь нѣкоторые изъ антибольшевистскаго лагеря, — пусть поступимся мы теперь тѣмъ или другимъ. Но за то будетъ разрушенъ большевизмъ. И мы будемъ имѣть „оазисъ“ (Московію?) такъ, какъ мы его хотимъ и понимаемъ. И въ этомъ будетъ спасеніе Россіи. „Что-бы выбрали вы, спрашиваютъ иной разъ ехидно: отдать Бессарабію, но одолѣть большевизмъ, или остаться *въ своемъ желаніи* при Бессарабіи, а *на дѣль*, въ Россіи,—при большевизмѣ?“ Вѣдь безъ „друзей“ со стороны не обойтись, а друзья и сосѣди требуютъ платы и берутъ ее.

И потомъ — это только „передышка“. Это — временное. Стоитъ Россіи свергнуть большевизмъ, стоитъ тамъ создаться правительству, приемлемому для этихъ „друзей“, и — ради его прекрасныхъ глазъ — условія будутъ измѣнены. Они такими

созданы только для большевиковъ. Тогда изъ расхитителей и порабитителей всѣ эти „пособники“ станутъ идеалистами, пекущимися объ интересахъ Россіи.

И еще одно говорятъ — и самое тяжелое, самое болезненное. Можно стоять на „высотѣ принциповъ“, но не надо забывать, во что обходятся эти принципы русскому народу. Надо помнить, что каждый день владычества большевиковъ — гибель новыхъ жертвъ. Каждый мѣсяцъ — гибель, быть можетъ, сотенъ тысячъ. Вымершая Россія — вотъ перспектива еще двухъ-трехъ лѣтъ большевистскаго господства. Надо — и часто это говорятъ люди, однимъ духомъ высказывающіеся въ то-же время и за блокаду, — надо помнить объ этомъ!

Мы помнимъ, мы не можемъ, не имѣемъ права забыть. Мы не только помнимъ о крови и смертяхъ въ Россіи, мы не только содрогаемся. Но мы знаемъ, что доля отвѣтственности за эту кровь, за эти смерти и на насъ, русскихъ гражданъ. Мы, волею судебъ или своею волею оказавшіеся въ „прекрасномъ далеѣ“, понимаемъ, переживаемъ, какъ велика эта отвѣтственность, и какимъ тяжкимъ туманомъ поднимается къ сознанию эта кровь и смерть. Къ этимъ близкимъ и далекимъ „ближнимъ“ несется мысль.

Но, или есть въ человѣкѣ и человѣческомъ что-то высшее и вѣчное, ради чего нельзя измѣнить и юты, или все растворяется лишь въ состраданіи. Припомнимъ, что вѣдь такъ аргументировали когда-то и за другое. „Вы,—говорили намъ,—кричите объ оборонѣ и національномъ самоохраненіи. Но вспомните о тысячахъ убитыхъ, калѣкъ, вдовъ, сиротъ, матерей, вспомните— и тогда, можетъ быть, вы пойдете и на „похабный“ миръ. Что значать всѣ слова и идеологіи передъ однимъ, яснымъ, несомнѣннымъ, осязательнымъ счастьемъ и благомъ — счастьемъ жить?“

Любовью къ ближнему должна быть полна душа наша. Будемъ помнить и, какъ Енохъ Господа, всегда носить предъ собою видѣніе страданій и испытаній нашей родины. Но — во имя ея будущаго, ея величія и чести, во имя національнаго самоуваженія — пусть любовь къ ближнему не заслонитъ предъ нами другой любви — любви къ „дальнему“, пусть „любовь къ вещамъ“ не уничтожитъ въ насъ „любви къ призракамъ“.

Нечеловѣческими испытаніями приходитъ Россія къ самосо-

знанію. Не ея вина. Слишкомъ долго внизу царилъ мракъ, а наверху великая вражда къ той государственности, которая претендовала представлять націю. Слишкомъ долго воспитывалось отвращеніе къ тому жалкому и гадкому, что брало официальный патентъ на названіе патріотизма. Слишкомъ долго слово патріотъ выговаривалось, какъ „потреотъ“.

Теперь наступила пора его реабилитации. И она нужна особенно теперь, ибо въ этомъ спасеніе, истинное новое рожденіе Россіи въ духѣ. Отъ этого зависитъ, быть ей или не быть.

И прямымъ нашимъ желаніемъ, вѣрой, является то, что и слово, и понятіе это вынесутъ, выстрадають до конца тѣ, кто пріялъ великую мартовскую революцію, кто, несмотря на всѣ испытанія, и теперь не отрекся отъ нея и во имя ея лозунговъ живетъ и дѣйствуетъ.

Пора вспомнить традиціи Великой Французской Революціи. Тогда революціонеръ назывался патріотъ.

Тяжелъ путь русской демократіи. Ее гонять, заушаютъ слѣва, ее преслѣдуютъ справа. Между молотомъ и наковальней она живетъ и продолжаетъ бороться за новое право. Но если даже подавятъ ее на время, если стихійныя силы сомкнутся на историческій мигъ надъ ея головой — будущее принадлежитъ ей. И пусть въ это будущее изъ мрачныхъ годовъ испытаній незапятнанными, неискаженными, абсолютными и вѣчными принесетъ она свою вѣру и свое утвержденіе родины!

**Николай Авксентьевъ.**

---